

Каждый раз, как приходится мне говорить или писать о Зинаиде Николаевне Гиппиус, спорить с теми, кто относится к ней отрицательно — а таких людей немало, — каждый раз я вспоминаю лаконическую запись в одном из дневников Блока без дальнейших пояснений:

— Единственность Зинаиды Гиппиус.

Да, единственность Зинаиды Гиппиус. Есть люди, которые как будто выделаны машиной, на заводе, выпущены на свет Божий целыми однородными сериями, и есть другие, как бы «ручной работы», — и такой была Гиппиус. Но помимо её исключительного своеобразия я, не колеблясь, скажу, что это была самая замечательная женщина, которую пришлось мне на моём веку знать. Не писательница, не поэт, а именно женщина, человек, среди, может быть, и более одарённых поэтесс, которых я встречал.

Думаю, что в литературе она оставила след не такой длительный и прочный, не такой яркий, как принято утверждать. Стихи её, при всём её мастерстве, лишены очарования. «Электрические стихи», — говорил Бунин, и действительно, эти сухие, выжатые, выкрученные строчки как будто потрескивают и светятся синеватыми искрами. Однако душевная единственность автора обнаруживается в том, что стихотворение Гиппиус можно без подписи узнать среди тысячи других. Эти стихи трудно любить — и она знала это, — но их трудно и забыть. В статьях — хотя бы в тех, которые подписаны псевдонимом Антон Крайний, — по общему мнению, сложившемуся ещё задолго до революции, будто бы сказывается её необыкновенный ум. И в самом деле, она была необыкновенно умна. Но гораздо умнее в разговоре, с глазу на глаз, когда она становилась такой, какой должна была быть в действительности, без раз навсегда принятой позы, без высокомерия и заносчивости, без стремления всех учить чему-то такому, что будто бы только ей и Мережковскому известно, — в разговоре с глазу на глаз, когда она становилась человеком ко всему открытым, ни в чём, в сущности, не уверенным и с какой-то неутолимой жадой, с непогрешимым слухом ко всему, что за неимением другого, более точного, термина приходится назвать расплывчатым словом «музыка».

В ней самой этой музыки не было, и при своей пронизательности она не могла этого не сознавать. Иллюзиями она себя не тешила. Музыка была в нём, в Мережковском, какая-то странная, грустная, приглушённая, будто выхолощенная, скопческая, но несомненная. Зато она, как никто, чувствовала и улавливала музыку в других людях, в чужих писаниях, страстно на неё откликалась и всем своим существом к ней тянулась. От всего только бытового, бытом ограниченного, от всякого литературного передвижничества она пренебрежительно отталкивалась, будто ей нечего было со всем этим делать, и даже бывала в отталкиваниях не всегда справедлива, принимая за передвижничество и то, что было им

только в оболочке. Ей, да и ему, Мережковскому, нужен был дух в чистом виде, без плоти, без всего, что в жизни может отяжелить дух при попытке взлёта, они оба были в этом смысле людьми «Достоевского», антитолстовского склада — склада, определившего то литературное движение, к которому они оба принадлежали и которое одно время даже возглавляли. Не случайно Зинаида Николаевна в последние годы жизни шутя называла себя «бабушкой русского декадентства».

В течение двенадцати — пятнадцати лет, предшествовавших войне, я у них бывал постоянно, и не только на шумных, многолюдных воскресных чаепитиях, которые должны бы войти в историю русской литературы, но и почти каждую неделю вечером, когда не было никого другого. Сначала разговор с ней — то, для чего я и приходил, и когда ни на минуту не бывало скучно, потом, уже под полночь, с Дмитрием Сергеевичем, выходящим от себя с какой-нибудь рукописью или книгой.

Должен признаться — и это я до сих пор вспоминаю с удивлением, — что в его обществе, если я оставался с ним наедине, мне всегда бывало как-то не по себе. Не неприятно, не тягостно, а именно не по себе. Я не знал, как с ним говорить, что ему сказать, я не находил тона, он меня стеснял, и вовсе не из-за какого-нибудь чрезмерного литературного пиетета, как можно было бы, допустим, стесняться писателя с европейским именем, который к тому же гораздо старше тебя. Нет, я не чувствовал его как человека, не понимал, что это за человек, не мог себе представить, каков он, например, один у себя в комнате, что он делает, о чём он думает. Было в нём, в его душевном составе что-то неуловимо причудливое, почти диковинное. Каюсь, у меня в связи с этим явилось даже предположение, которое оказалось неверным.

Зинаида Николаевна не раз рассказывала мне о том, как они оба были в Ясной Поляне. Перед тем как разойтись на ночь, Толстой будто бы остановился со свечой в руках и молча, пристально, в упор долго смотрел на Мережковского.

— Мне даже жутко стало, — вспоминала она, — что это он своими страшными серыми глазами уставился на Дмитрия!

Мне представилось, что Толстой безотчётно задумался: что это за человек такой, как бы его надо было описать? Толстой, — думал я, — встретил «модель», не похожую ни на какую другую, и именно поэтому так пристально, со вниманием и любопытством художника вглядывался в Мережковского. Но потом я прочёл в воспоминаниях Короленко, что с ним было то же самое: он тоже поймал на себе долгий, упорный взгляд Толстого и ему тоже стало «жутко». Очевидно, это было у Толстого привычкой: ничего странного, загадочного, трудноуловимого в личности Короленко, наверно, не было.

Вернусь, однако, к Зинаиде Николаевне.

Если я позволил бы себе с уверенностью сказать, что был с ней близок, то всё же не решусь употребить слово «дружба». Слово это требует обоюдного согласия, признания с той и другой стороны, и, кто же этого не знает, слишком часто у покойников, в особенности у покойников знаменитых, находятся после смерти друзья, которые заявлениями о мнимой дружбе с ними сильно бы их удивили. Но я действительно хорошо знал Зинаиду Николаевну и, только узнав её, понял — а теперь, на расстоянии двадцати с лишним лет, понимаю ещё вернее, — что между нею самой и тем, что она говорила и писала, между нею самой и её нарочитым литературным обликом было резкое внутреннее несоответствие. Она хотела казаться тем, чем в действительности не была. Она прежде всего хотела именно казаться. Помимо редкой душевной прихотливости, тут сыграли роль веяния времени, стиль и склад эпохи, когда чуть ли не все принимали позы, а она этим веяниям не только поддавалась, но в большой мере сама их создавала. Ведь даже Иннокентий Анненский утверждал, что в литературе, в поэзии надо «выдумать себя». Не могу понять, для чего. В литературе, в поэзии надо быть самим собой: всё прочее — суета сует, пустые, досужие измышления, прах, который рано или поздно развеется. Анненский оттого и останется в русской поэзии, — думаю, до последнего дня её существования, — что, «выдумывая себя», он оказал-

ся не в силах истинную свою сущность преодолеть. О Зинаиде Гиппиус это можно было бы сказать только с оговорками.

Она хотела казаться человеком с логически неумолимым, неизменно трезвым, сверхкартезианским умом. Повторяю, она была в самом деле очень умной. Но ум у неё был путаный, извилистый, очень женский, гораздо более замечательный в смутных догадках, чем в отчётливых, отвлечённых построениях, в тех рассудочных теоремах, по образцу которых написаны многие её статьи. Она хотела казаться пронизательнее всех на свете, и постоянной формой её речи был вопрос: «А что, если?..» А что, если дважды два не четыре, а сорок семь, а что, если Волга впадает не в Каспийское море, а в Индийский океан? Это была игра, но с этой игрой она свыклась и на ней построила свою репутацию человека, который видит и догадывается о том, что для обыкновенных смертных недоступно.

Она знала, что её считают злой, нетерпимой, придирчивой, мстительной, и слухи эти она усердно поддерживала, они ей нравились, как нравилось ей раздражать людей, наживать себе врагов. Но это тоже была игра. По глубокому моему убеждению, злым, чёрствым человеком она не была, а в особенности не было в ней никакой злопамятности. (Ещё меньше было этого в нём, в Мережковском. Прекрасная его черта: ему можно было сказать что угодно, он сердился, махал руками, возмущался, а через полчаса всё забывал и говорил с обидчиком, как с приятелем.) Однажды Милюков заявил Зинаиде Николаевне, что не может больше печатать в «Последних новостях» её статьи:

— Я слишком стар и слишком занят, чтобы уследить за всеми шпильками, которыми вы каждую свою статью украшаете!

Она была искренне удивлена: «Ну подумайте, у меня шпильки! У меня!» Она не придавала своим язвительным выпадам значения, она забывала о них, как о чём-то третьестепенном и в худшем случае только забавном.

Другое воспоминание. В самом начале революции Троцкий выпустил брошюру о борьбе с религиозными предрассудками. «Пора, товарищи, понять, что никакого Бога нет, ангелов нет, чертей и ведьм нет», — и вдруг, совершенно неожиданно, в скобках: «Нет, впрочем, одна ведьма есть — Зинаида Гиппиус». Мне эта брошюра попала на глаза уже здесь, в Париже, и я принёс её Зинаиде Николаевне. Она, со своим вечным лорнетом в руках, прочла, нахмурилась, пробрюзжала: «Это ещё что такое? Что это он выдумал?», а потом весело рассмеялась и признала, что по крайней мере это остроумно.

Вот, перебирая давние свои впечатления, пытаюсь в них разобраться, я прихожу к мысли, что Зинаида Николаевна как личность была больше, значительнее, человечнее и даже сложнее всего, что удалось ей написать. Нет, «удалось», пожалуй, не то слово; всего, чем она хотела в литературе казаться в расчёте на возникновение какой-то легенды, имя которой «Зинаида Гиппиус». Но Блок не ошибся в своей необъяснённой формуле о её единственности, и я уверен, что все, действительно близко её знавшие, с Блоком согласны, хотя и они нелегко нашли бы своему согласию объяснение. В ней была какая-то сухая печаль — говорю «сухая», потому что бесконечно далёкая от всякой слезливости или жалостливости, — печаль, поднимавшаяся будто из самых глубин её натуры. Если бы всё-таки попытаться определить в двух словах то, что было в ней основным, самым существенным, я бы сказал, что была она человеком вполне земным, но с каким-то постоянным, хотя и рассудочным — и в этом-то и была её драма! — томлением о потустороннем. Ей действительно были скучны «скучные песни земли», но не потому, что она помнила «звуки небес», а только потому, что она знала о существовании людей, которые эти звуки улавливали. Неслучайно в одном из давних своих стихотворений она писала, что «мёртвый ястреб — душа моя». Некоторые её стихотворения противоречат этому утверждению и как будто рвутся из того заколдованного, удушливого круга, который был её миром. В некоторых сквозит не то упрёк самой себе, не то стремление себе помочь, — например, в восьмистишии, необычно для нее откровенном, лишённом притворства и что-то приоткрывающем:

Преодолеть без утешенья,  
Всё пережить и всё принять,  
И в сердце даже на забвеньё  
Надежды тайной не питать,  
Но быть, как этот купол синий,  
Как он, высокий и простой,  
Склоняться любящей пустыней  
Над нераскаянной землёй.

Заканчивая эти заметки, я сомневаюсь: не вызовут ли они недоумения? Это всё, могут мне возразить, это всё, что вы нашли нужным сказать о выдающейся поэтессе, о человеке, сыгравшем в нашей новой литературе значительную роль, наконец, о верной спутнице Мережковского, сотая годовщина со дня рождения которого недавно была отмечена? (Они ведь были неразлучны и, по утверждению Зинаиды Николаевны, не расстались за полвека супружества ни на один день).

Мне хотелось прежде всего быть правдивым, тем более что правдивость по отношению к Зинаиде Гиппиус в конце концов приводит к чему-то не очень далёкому от надгробного «похвального слова». Возникает образ сложный, лишённый тех условно хвалебных черт, которые тут же и забываются. Я рад и даже благодарен судьбе за то, что с Зинаидой Николаевной мне привелось встретиться, потому что встреча и долгое общение с таким человеком обогащают жизненный опыт и позволяют ещё лучше вчувствоваться в безграничную, загадочную противоречивость человеческого ума и сердца.